

1922
№ 1¹

1-й экз.

ДЛЯ НАЛ

ЖУРНАЛ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

ИЗДАВАЕМЫЙ

РОССИЙСКОЮ АКАДЕМИЕЮ НАУК

под редакцией Академика Ф. И. Успенского
Члена-корреспондента Академии Наук Е. В. Тарле

1



ПЕТЕРБУРГ
1922

1-й экз.

АННАЛЫ

3005041

ЖУРНАЛ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

ИЗДАВАЕМЫЙ

РОССИЙСКОЮ АКАДЕМИЕЮ НАУК

под редакцией Академика Ф. И. УСПЕНСКОГО и
Члена-корреспондента Академии Наук Е. В. ТАРЛЕ.



ПЕТЕР

степени важ-
проблем. Назрела кроме

ОТ РЕДАКЦИИ.

Полное отсутствие в России в настоящее время изданий, посвященных всеобщей истории давно уже живо чувствовалось всеми интересующимися исторической наукой. В январе с. г. академиком Ф. И. Успенским и членом-корреспондентом Академии Е. В. Тарле была внесена на рассмотрение отделения Исторических наук и филологии Российской Академии Наук записка о необходимости приступить к изданию журнала всеобщей истории. Отделение избрало комиссию, в которую, кроме названных лиц, вошли: В. В. Бартольд, Н. Я. Марр, С. Ф. Ольденбург и С. Ф. Платонов.

Комиссия единогласно одобрила все тезисы доклада, после чего, в заседании 1 февраля с. г., отделение, выслушавши комиссию, постановило: приступить к изданию периодического органа, посвященного вопросам всеобщей истории, и поручить редактирование его Ф. И. Успенскому и Е. В. Тарле. Техническое осуществление настоящего издания приняло на себя издательство „Петроград“.

Приступая к исполнению возложенной на них задачи, редакторы не скрывают от себя необычайной ее трудности при настоящих условиях научного труда, при нынешней разобщенности с Западом, наконец, при настоящем положении сношений Петербурга с Москвой и провинцией. Но, с другой стороны, редакторы хорошо знают, что за последние годы, не смотря ни на что, научная жизнь продолжалась и в Академии, и в Петербургском, и в Московском и в некоторых провинциальных университетах. Если новому журналу удастся стать органом обмена мнений и научных сообщений, обслуживающим русских специалистов, часть его дела будет сделана.

В программу журнала входит, между прочим, ведение возможно более полной регистрации появляющейся на западе научной исторической литературы. В частности, будет принята во внимание мало у нас пока известная, колоссальная и с каждым месяцем быстро растущая литература по истории великой войны и революционных переворотов, за нею последовавших в разных странах Европы.

Редакция не может также не принять во внимание, что ей придется до поры, до времени считаться с фактом отсутствия у нас целого ряда необходимейших периодических изданий и брать на себя некоторые их функции. Например, у нас в настоящее время нет (да и прежде не было) ни одного органа, посвященного экономической истории. Экономическая историография по своей обширности и огромному общему значению при более нормальных условиях должна, конечно, обслуживаться специальным органом (в Германии их — несколько). За отсутствием его журнал „Анналы“ будет пристально следить за успехами этой важной отрасли исторического знания.

Вообще же, чем более будут облегчаться ученые сношения с Западом, тем больше места будет отводиться критике и библиографии, учету прибывающих книг и их анализу.

В исторической науке назрел целый ряд в высшей степени важных общих технических и методологических проблем. Назрела, кроме

того, потребность разобраться в том, как ставятся многие кардинальные вопросы древней, средней, новой и новейшей истории в настоящее время. Статьи историографического характера, критические обзоры, систематические анализы литературы — будут желательными в новом журнале. Незачем распространяться о том, что широкая терпимость ко всем взглядам и точкам зрения, представленным в науке, — обязательна для редакции.

Редакция отмечает тут лишь некоторые свои намерения и чаяния. Удастся ли — и в какой мере — дожидаться их осуществления — сказать пока мудрено. Опустошила смерть ряды русских ученых, — и в земле лежат многие, имена которых могли бы украсить этот журнал. Надломилась в расцвете сил и корифей вроде Тураева, и возникающие надежды в роде его ученика Волкова.

Тем более ответственности легло на оставшихся, оберегающих и поддерживающих не потухший еще огонь русской научной мысли.

Если журналу „Анналы“ удастся хоть отчасти облегчить русским исследователям идейное общение как с русскими, так и с западноевропейскими собратьями по науке, если ему удастся, вместе с тем, дать русскому читающему обществу возможность следить за успехами исторического знания, главная цель редакции будет достигнута.

Очередная задача.

I.

Уже в конце XIX столетия и в первые годы XX становилось все заметнее, что в исторической науке намечаются некоторые сдвиги, обнаруживается явное недоверие ко многим унаследованным схемам и позыв к их пересмотру. Дело шло не только об общих историко-философских системах: эти системы почти все без исключения еще до указанного момента все более и более ветшали и колебались, и ни одна из них к началу XX века не могла претендовать ни на всеобщее признание, ни даже на абсолютную преданность и безусловное доверие среди собственных сторонников. Скептицизм и критицизм обращался уже не против этих величественных и шатких сооружений, но становился смертоносным оружием в борьбе против построек другого рода, менее обширных, но более, казалось, крепких, с менее видным фасадом, но более прочным, как думали, фундаментом. Ни в области истории социально-экономической, ни в области истории политической или культурной не осталось, кажется, ни одной частной схемы, которая оказалась бы не разрушенной, непоколебленной или хоть не затронутой. Каково происхождение земельной общины? Каково начало городов и городского строя в Европе? Откуда взялись движимые капиталы в XV и XVI веках? Было ли денежное обращение и в каких размерах—в эпоху Каролингов? Позволительно ли при определении сущности Ренессанса только повторять своими словами Буркгардта? Каковы были истинные движущие силы реформационного движения? Какова настоящая, а не выдуманная последовательность явлений в деле закрепощения среднеевропейского и восточно-европейского крестьянства? Как росло московское государство не в двадцати девяти томах С. М. Соловьева, но в действительности? Чем была якобинская диктатура в эпоху великой революции, если отвести от исторического полотна и кисть Тена с черною краскою, и кисть Луи Блана и Альбера Матьеа с розовою краскою? Каковы были реальные предпосылки и последствия наполеоновского владычества во Франции и Европе? Какова была историческая роль католицизма в новой и новейшей истории Германии? Каковы истинные размеры исторического значения торговли южной Европы с Левантом? Впрочем, нельзя и приблизительно перечислить все проблемы, которые настоятельно звали к пересмотру, к новым постановкам и новым решениям. Я привел, в виде примеров, лишь то, что прежде всего вспомнилось.

Чем объясняется эта явственная неудовлетворенность, эти поиски, часто неудачные, иногда очень трудные, но всегда решительные? Ибо похоже бывало на такое настроение: «я должен разрушить старую схему, может быть ничего не найду, но повторять прежнюю выдумку во всяком случае не желаю». Прежде всего условимся относительно терминов: критика направлялась и против схем, и против частных теорий, и против общих историко-философских систем.

Схема, первичная, в сущности, форма систематизации материала. Каузальный анализ только еще начинается, когда схема уже на-лицо; только каузально объясненная схема может превратиться в частную историческую теорию, и только нахождение формулы, приложимой ко всем частным теориям и абстрагирующей то общее и определяющее, что в них имеется, может проложить путь к созданию историко-философской системы. Когда я говорю: средневековой феодальный уклад был для несвободного населения легче, чем серваж 15, 16, 17 веков, — то я строю схему. Еще не претендуя объяснить материал, я только стараюсь его систематизировать, и даю вот это построение. Я еще не объясняю, а только формулирую, ибо всякая схема—есть по существу только *постановка вопроса*. Но я продолжаю: позднейшее крепостничество было тяжелее раннего феодализма потому, что в средние века сбыт сельскохозяйственных продуктов на сторону не играл такой роли, как впоследствии, и поэтому у землевладельца не было таких побудительных причин доводить эксплуатацию крестьянского труда до последних пределов. Тут я уже объясняю схему,—и даю *частную теорию*, претендующую осветить причину эволюции аграрного быта в конце средних веков и начале нового времени. Наконец, когда построивши или принявши вслед за этою ряд других частных теорий, аналогично объясняющих иные изменения в истории, я говорю: экономика обуславливает весь исторический процесс,—то я даю (или принимаю) *общую историко-философскую систему*.

От схемы—через частную теорию—к общему историко-философскому построению, — вот прямой путь исторического мышления, вот обобщающая работа, начинающаяся после собирания, установления и проверки фактического материала.

И неутешительнее всего именно то, что в последние десятилетия, как сказано, постройка опрокидывается обыкновенно уже в начальной фазе: дело часто не доходит даже до создания частной теории. Критика опрокидывает схему, другими словами, уничтожает даже постановку проблемы. Новые и новые факты отказываются уместиться даже в этом первоначальном обобщении, которое называется схемою. Можно даже сказать, что общие историко-философские системы подвергались меньшим и не столь убийственным нападениям, как схемы и частные теории. До них как-то и дело не доходило в последнее время. Мало того: иногда даже схемы и частные теории разрушались исследователями, принимавшими общее историко-философское воззрение, которое казалось бы базировалось именно на этих разрушаемых частных теориях. Но об этом—в другой раз. Здесь мы должны обратиться к поставленному вопросу: чем объясняется эта усиленная и успешная критика схем и частных теорий в последние десятилетия?

Присмотримся ближе ко всем обстоятельствам.

1. Главное объяснение (но далеко не единственное) заключается в притоке новых фактов. Старые сети вовсе не были рассчитаны на такой улов и на такую крупную рыбу,—и часто разрывались и рас-

ползались как бы сами собою. Старые схемы и теории нередко мастерились в такие времена, когда их авторы знали меньше, чем спустя пятьдесят лет обязан был знать прилежный гимназист старших классов. Ведь, гибель схем от наплыва фактов в истории нашей науки уже не в первый раз случается. Когда только занималась заря эпохи великих эрудитов, подобное произошло, напр., в умственной жизни Цезаря Барониуса, одного из первых по времени, заслугам и по ученому такту. Кардинал Барониус родился за восемь лет до смерти Лютера и скончался за одиннадцать лет до начала Тридцатилетней войны; он жил и действовал в век жестокой борьбы католицизма, сначала за существование, потом за восстановление супрематии в Европе, и его намерения были чисто полемическими, его историческая теория была ему предуказана злобою дня, ему нужно было своею историею церкви опровергнуть лютеранского апологета и историка церкви Флация Иллирика (Матвея Власича) и других „цензуриаторов“, как назывались эти издатели „церковной истории по столетиям“ (*secundum singulas centurias*). Однако, его труд оказался не только полемическою обязанностью кардинала, но и подвигом эрудита. Дело не в том только, что он признал подложность Константинова дара и что он обходит молчанием многие предания, которые громко признавала церковь: самое характерное в Барониусе—это явственное увлечение его работою историка и собирателя исторических материалов, работою *самою по себе*, совсем независимо от громко им признаваемых конфессиональных задач. Где теперь борьба лютеран с католиками? А Барониус до сих пор не выходит из рук исследователей.

Уже эрудит следующего поколения Дюканж был совершенно свободен от схем. Во всей его грандиозной по размерам и результатам деятельности им, совершенно очевидно, руководило сознательное убеждение в необходимости выяснить материал, собирать факты, извлечь науку от той полнейшей нищеты, в которой она обреталась. Он не был робким архитектором, но он застал такую скудость строительных материалов и такое неумение их находить и собирать, что весь его долгий век ушел на эту первоначальную работу по подготовке далекого здания, которое ему не суждено было увидеть. Нужно ли дело он сделал? В 1922 году еще продолжают занятия международной комиссией академий Европы по вопросу о переиздании словаря Дюканжа. Он еще не устарел, архитекторы еще до сих пор нуждаются в его надежных складах.

Но, после сказанного, незачем много распространяться о том, что ему пришлось продолжать в несколько другой плоскости, а не исправлять дело Барониуса, так как свою предвзятую схему Барониус успел изжить если не в теории, то на практике сам: его схема была отброшена молчаливо-им самим. Гораздо чаще в истории науки случалось так, что создатели схем были отделены от разрушителей годами, иногда десятилетиями. Тут боролись, особенно в прежние времена, даже не младшие братья со старшими, но дети с отцами и внуки и правнуки с дедами. Не все, подобно Барониусу, сами были собирателями, деятельность которых вносила коррективы в их же предпосылки и построения и, главное, получала ценность независимо от этих построений. Чаще всего новые факты добывались и новыми людьми. Что осталось от схемы Огюстена Тьерри и его предшественников, от всей теории „двух наций“ (галлов и франков), их якобы продолжающегося до XIX века сосуществования? Что разрушило и эту схему и много ей подобных?—*Monumenta Germaniae historica*. Тоже про-

изошло с рядом теорий происхождения феодализма, то же с идеею о будто бы беспросветном мраке средних веков в культурном отношении,—одно только названное издание и ему подобные—похоронили десятки старых схем и теорий. Все это, опять, единичные примеры из прошлого науки. Обратимся к настоящему или, если угодно, к вчерашнему дню ее.

К концу XIX и началу XX века количество фактов, поступающих в распоряжение историка, стало расти с необычайною быстротою, Работали, не покладая рук, в Германии, Франции, Англии, Италии старые комиссии, ученые и издательские группы; непрерывно возникали и развивались новые. Прикосновение к архиву становилось все обязательнее для каждого серьезного исследователя. В оборот поступала такая масса нетронутого материала, которую даже, напр., Ранке мог разве только предчувствовать, когда выступал в 1824 г. на ученое поприще. Папирусные находки изумительно и неожиданно пополнили даже представление о древнем мире, об эллинистических государствах; еще больше возросло количество источников по истории средневековья; но что касается новой истории, то именно здесь наблюдалось в этом отношении истинное наводнение. Многотомные издания следовали одно за другим, и архивы всех стран, открытые для отдельных исследователей, оказывались поистине неисчислимыми именно относительно истории последних столетий. Если в области древней и средней истории схемы и теории могли еще обнаруживать сравнительно известную прочность и устойчивость и держаться десятилетиями, то в области новой истории этот непрерывный водопад новых и новых фактов шутя сносил прочь самые эффектные построения, как карточные домики. Очень уже скоротечным оказывалось всегда существование почти всех схем, возникавших в области новой и новейшей истории. Здесь все последнее время мы видели пред собою пучину фактов—и обломки схем и теорий, погибавших бесследно в этой пучине. Одни потонули, другие тонут, третьи ждут своей участи.

2. Вторую общую причину недолговечности исторических схем и частных теорий было усложнение психологии, повышение требовательности, расширение кругозора среди самих исследователей, как политических мыслителей, так и историков. Жизнь с каждым полувеком становилась сложнее, и те, кто ее переживал и наблюдал, все более и более утрачивали с каждым поколением тот запас прямолинейности, тот, если можно так выразиться, дар односторонности, который благоприятен для создания схемы и веры в нее. Гоббс настолько же шире Макиавелли, насколько Макиавелли сложнее какого-нибудь Арнольда из Брешии или насколько Жан-Жак Руссо сложнее Гоббса. Наивны все историки, жившие в XVII и начале XVIII в., даже Рапен де-Туара, даже Кларендон, в сравнении с Гиббоном, но не менее наивен Гиббон пред Моммзеном, Ренаном, Фюстель-де-Куланжем, хотя по своим дарованиям он громаден и громадным останется (ибо он оказался из тех, кто от отдаленной перспективы нисколько не проигрывает).

Френсис Бэкон был прав. Семнадцатый век был на семнадцать веков старше, а поэтому осведомленнее и „умнее“ Цицерона; но и восемнадцатый был по аналогичным причинам умнее семнадцатого, девятнадцатый умнее восемнадцатого, двадцатый умнее девятнадцатого. Быстрый темп усложнения жизни могущественно менял психику историков, и они уже поэтому часто не могли мириться с прежними упрощенными схемами и теориями. Очень часто, правда, они решительно ничего не в силах были противопоставить старым объясне-

ниям и даже неспособны были подвергнуть их критике, и тогда получались трагикомические результаты, вроде „исторических“ книг Карлейля, у которого так могущественно внутреннее отвращение к унаследованным системам и так бессильна и бесплодна собственная критическая и конструктивная мысль. Но чаще историки не оказывались так всесторонне обделенными всеми нужными им качествами, как Карлейль, который был публицистом, моралистом, словесным искусником (последнее, впрочем, на любителя), но лишь по недоразумению считал себя ученым исследователем. Не все разрушители старых систем заменяли их новыми,—но критическая работа в течении всего последнего века шла кипучая. Эта работа с каждым десятилетием становилась все труднее, потому что, с ростом материалов и уточнением методов, и схемы строились более частные, более дробные и более, поэтому устойчивые. Нибуру приходилось разрушать старых рассказчиков, а Карлу-Вильгельму Нитцше довелось вести борьбу уже со схемами Моммзена; критикам же Гульельмо Ферреро и Паиса порою приходится теперь еще труднее, чем приходилось Нитцше. Критикам Тьера было легче работать, чем критикам Тена, а критикам Тена—легче, чем критикам Сореля; критиковать Маколея или Галлама—детская игра сравнительно с задачей вести борьбу против построений Гардинера; стать критиком русских исторических схем в век скептика Каченовского было несравненно проще, чем играть ту же роль во времена аналитика Сергеевича. Чем труднее становилась задача критики, тем чаще привлекала она к себе сильные интеллекты. Систематики и конструкторы делались более редким явлением, чем критики и полемисты. Требовательность к схемам все росла, критика делалась все бдительнее и проницательнее, потоки новых и новых фактов в подавляющем большинстве случаев шли на пользу не творцам систем, но критикам. Так обстояло дело в последние годы научного общения европейских стран, в самом конце XIX и в первые годы XX столетия.

II.

Чем объясняется это только что отмеченное явление? Почему неслыханное обилие новых фактов и проверка старых шли более на пользу критическим, а не конструктивным умам, хотя, казалось бы, скорее должно было наблюдаться обратное?

Для ответа на этот вопрос следует пристальнее взглянуть в конкретности. Нам прежде всего бросятся в глаза два обстоятельства.

1. Не может подлежать никакому сомнению, что среди мириады вновь открытых или вновь обследованных фактов, вошедших в научный оборот за последние 45—50 лет, феномены экономической истории сыграли совсем исключительную роль. Ученые самых разнообразных историко-философских мирозерцаний не могли, сохраняя примитивную внимательность к реальностям и беспристрастие, не признать, что в общем сцеплении явлений истории экономические феномены играют определяющую и всегда громадную роль. (Нарочно берем формулу эклектическую). Становилось ясно, что отмахнуться от этого факта никак нельзя. Значит, нужно прежде всего схематизировать этот новый историко-экономический материал, без чего невозможны или бесплодны шаги к построению общих объ-

яснений и систем. Но стоило так поставить задачу, как сейчас же обнаружилось, что именно этот материал несравненно меньше поддается систематизации, чем всякий другой, и теории тут разлетались и разлетаются в прах с поистине необычайною легкостью, почти непосредственно вслед за возникновением.

Дело в том, что ход экономической истории еще более однократен и не повторяем, а потому еще труднее поддается подведению под ту или иную закономерность, чем, например, процесс политический, эволюция права или государственных форм. Известно, что астрономы уподобляют реальную линию, по которой земля (или любая планета) вращается вокруг солнца вовсе не замкнутой кривой, но бесконечной винтовой линии, спирали в пространстве, так как само солнце имеет поступательное движение и увлекает непрерывно все свои планеты в новые области вселенной, где оно еще не было. В астрономии эта однократность и скоротечность пребывания солнца и планет в определенной области вселенной только потому не вредит делу изучения, что *соотношения* между планетами и солнцем остаются без изменений. Но для изучения социальных феноменов и, главное, для построения объяснений—однократность является огромным методологическим препятствием, так как в каждой новой фазе меняются и удельный вес ингредиентов, и соотношения между ингредиентами. Если для примера мы возьмем капитализм, то увидим, что все попытки изобразить его развитие иначе как в *форм единой*, хотя и зигзагообразной линии, окончились только неудачей. Дурна или хороша, основательна или нереальна в своих частностях, в своих хронологических делениях и утверждениях схема Бюхера,—но ясно, что *нельзя* опровергнуть констатирование однократности и неповторяемости всех пока известных фаз мирового капиталистического процесса. А там, где нет повторяемости,—нет возможности построить хотя бы эмпирический закон развития.

Вообще же, неслыханное обогащение науки именно неизвестным до последних десятилетий материалом совсем особого характера, фактами экономической истории,—повелительно требует прежде всего, чтобы этот новый материал был если пока не объяснен, то хоть упорядочен и сколько-нибудь систематизирован. Это и делается, но по свойствам материала туго и часто неудачно, что и замедляет общий прогресс исторического изучения и понимания.

До войны этот материал не переставал привлекать к себе внимание. Будет ли удачнее в данной области синтезирующая мысль после войны—покажет будущее.

Пока, во всяком случае, едва ли не одним из самых выдающихся проявлений работы научной мысли (*после войны*) в области экономической истории следует признать полемику между фон Беловым и Вернером Зомбартом. Георг фон-Белов, ученый редкой эрудиции и громадных заслуг в названной области исторической науки, выпустил в 1920 книгу в 710 страниц под названием „*Probleme der Wirtschaftsgeschichte*“; в этой книге он решительно (и презрительно) отвергает все схемы и частные теории, выставленные Вернером Зомбартом, как относительно средневековых городов, так и относительно образования капитала в Европе. В ответ на это Вернер Зомбарт, ученый тоже громадных познаний и большого таланта, также имеющий за собою ряд выдающихся трудов, разразился статьей (см. *Schmoller's Jahrbuch*, 1920, том 44, книжка 4-я, стр. 73—91), в которой доказывает не столько свою правоту, сколько старается убедить читателя в бездарности, несригинальности и злостности своего противника. Если

читатель поинтересуется вопросом: кого же считает более правым, например, авторитетная редакция Schmoller's Jahrbuch'a, то на этот вопрос могу ответить, что почти одновременно со статьей Зомбарта в этом журнале напечатана и статья самого Георга фон-Белова под названием: „Возникновение современного капитализма и главные города“ (Schmoller's Jahrbuch, 1919, том 43, кн. 3-я, стр. 1—18).

Хуже всего, что если не в своих личных взаимных укорах, то в критике по существу *оба* полемиста правы,—и вот еще несколько схем продолжают после этой полемики свое бытие в довольно искаленном виде. А схемы эти касаются существенных, жизненных проблем экономической истории, не разрешивши которых сколько нибудь удовлетворительно нельзя двинуться дальше. Но что же делать редакции названного ученого специального органа, как не хранить растерянный и грустный нейтралитет? Не виновата же она, что оба противника так сильны и основательны во взаимной критике и так уязвимы в своей конструктивной деятельности, и что у того и другого оказывается в распоряжении сколько угодно вполне доброкачественных фактических материалов для взаимных опровержений?

2. Обилие фактического материала в последние десятилетия сказалось не только в приобретении для науки целой области, до сих пор почти неведомой, но и в громадных пополнениях уже бывших в наличности старых запасов. Теоретизирование стало не легким делом и в старых областях истории культурной и политической. Стала возможною, а потому и обязательно такая тонкость, точность и четкость в *описании* фактов, о которых раньше и слышно не было. И естественно, что чем индивидуальнее и полнее вырисовывался факт, тем труднее было подвести его под любой общий ранжир, тем натянутее должны были становиться все усилия его использования в качестве материала для построения эмпирического правила. Насколько Луи Блану при его не тяжелом багаже легче было философствовать над историею и по поводу истории великой революции, чем Токвилю! С каким легким сердцем Мишо „объяснял“ крестonosное движение, которое он думал будто знает, и как трудно спустя полвека после Мишо было настоящим исследователям изобразить и истолковать этот период! Они и теперь еще полностью не справились с задачею. Как все просто и ясно в Тридцатилетней войне для Фридриха Шиллера,—и как бы скомпрометировал себя теперь самый скромный начинающий ученый, если бы он вздумал не то, что принять, а серьезно считаться с утверждениями и объяснениями, предложенными этим вдохновенным поэтом! Каким простым и удобопонятным казался Александр I Надлеру—и каким до таинственности сложным он вышел у Шильдера и у Николая Михайловича! В том то и дело, что в истории больше и скорее чем в любой другой науке изменение в количестве точных фактических знаний сейчас же сказывается разрушением всей ткани данного построения.

Оба указанные обстоятельства успели в последнее время быстро антиквировать и смести прочь ряд схем и частных теорий, которые могли, казалось бы, рассчитывать на более или менее продолжительное существование. Кипучая деятельность по добыванию новых фактов сблизила в некотором смысле историю с точными науками, где факты добываются еще в гораздо большем количестве, а теории разрушаются еще быстрее. В 1317 году умер во Флоренции изобретатель очков Сальвино д'Аммарти. Никакому офтальмологу нашего времени не придет в голову разыскивать трактат д'Аммарти, чтобы поучиться оптике. Но почти также этому офтальмологу будет бесполезен учеб-

ник по его специальности, написанный не шестьсот, а шестнадцать лет тому назад. Историки же не привыкли еще пока к такому размаху. Еще недавно Лоренцо Валла, который всего на сто лет моложе Сальвино д'Аммарти, находил свое место в ученых трудах—в обзоре литературы предмета, как автор, с мнениями которого надлежит еще считаться. Теперь это быстро меняется. Войдите в библиотеку при каком-либо естественно-научном или техническом или медицинском институте, вас охватит такая могильная атмосфера, какой никогда не будет в библиотеке гуманитарных наук, хотя с полок на вас смотрят еще совсем свежие корешки книг и журналов: они вышли в свет десять или двадцать лет тому назад,—и поэтому никому решительно не нужны, кроме разве любителей, пишущих историю того или иного вопроса.

Может быть, к этому идет дело и в историографии. „Какой чу-дак, он хочет написать книгу, которая бы не устарела через десять лет!“ С улыбкой заметил однажды покойный М. М. Ковалевский, говоря об авторе (М. Острогорском), готовившем очень долго и с большими затруднениями одно исследование по истории государственных учреждений. Возможно, что это замечание скоро совсем перестанет казаться парадоксом также и в области гуманитарных наук: применительно к наукам точным оно уже могло бы назваться старомодным трюизмом, там десять лет—срок слишком большой.

III.

В 1913 году на апрельском всемирном конгрессе историков в Лондоне сильно сказывалась и на рефератах, и во время прений, и во время непринужденных частных бесед эта черта: растерянность пред лавиной нового материала, сознание, что многие удобные, имевшие часто большое методологическое, служебное значение схемы и теории разбиты этою лавиною в куски и унесены прочь, и главное, недоверие к попыткам новых конструкций. А одновременно наблюдалось полное понимание, что без конструкций—нет науки, а есть лишь складочное место материалов.

И тут то, год спустя после этого съезда, грянула такая катастрофа, которая самым действенным образом отразилась на душе человечества.

Какие последствия может она иметь для психологии той численно ничтожной группы людей, которые избрали делом своей жизни исследование прошлого человеческого рода?

Вопрос,—по крайней мере, для самой этой группы немаловажный. Пора, если не разобраться в нем, то хоть поставить его. Одна из главных добродетелей и обязанностей историка—недоверчивость. Должны же мы, очнувшись от удара, с недоверчивостью обратиться прежде всего к самим себе и попытаться установить: как изменился аппарат нашего мышления? Больше или меньше способны мы осилить и понять, чем раньше? Что может быть естественнее такого рассуждения: на государства, их силы, соотношение этих сил, на психику русского народа, на множество явлений мы смотрели до войны не так, как смотрим теперь; и знаем наверное, что не только эти явления изменились, но что мы, просто не понимали очень многого, нереально смотрели на многое и принимали фантомы за действительность; если так, то почему думать, что безошибочны были

наши воззрения на историю? Если мы в 1913, 1914, 1915, 1916 г.г. принимали, скажем, русский народ за кого-то другого, то где ручательство, что мы лучше знаем и понимаем римлян, греков, франков, современников Карла V или Людовика XVI или Наполеона? В смерти, утверждал Тургенев, всегда есть какая-то окончательная правда. Революция—всегда прежде всего смерть, а уже потом жизнь. Вот почему с каждым катаклизмом гибнет очень много старых фантомов и лжи. Тут же немедленно рождаются, конечно, новые,—но, во всяком случае, процесс отрезвления от старых фантазмогорий способен пошатнуть наиболее крепкую умственную самоуверенность.

И в этот то опасный период утраты веры в правильность целого ряда своих былых суждений, историки, пережившие катаклизм, подвергаются новым и сильным искушениям, их интеллект отвлекается от своего прямого научного назначения могучими, часто непреодолимыми влияниями. Поясню эти слова.

К пониманию того, чем должна быть историческая наука, может приблизиться или хоть начать приближаться лишь тот, кто отвергнет обе части древнего утверждения, будто история *scribitur ad narrandum, non ad demonstrandum*. Если берущийся за исторический труд хочет быть рассказчиком, то, конечно, это лучше, чем если он намерен при этом быть адвокатом. Но и рассказчик почти так же далек от историка, как адвокат. История должна писаться *не только* для повествования и *вовсе не* для доказательств в пользу наперед выставленного политического или религиозного тезиса. Установление факта и выяснение его причин—вот первоначальная и обязательная забота исследователя; не вся его задача—но две обязательные первоначальные фазы его пути. Между тем, мы наблюдаем, что поколениям, пережившим большие катаклизмы, свойственно именно стремление даже не рассказывать, а доказывать и обманывать себя мыслью, будто они хотят беспристрастно выяснять причины происшедшего, когда на самом деле они либо по прокурорски ищут корней и нитей преступления, либо по адвокатски хотят возвеличить подвиг. О французской революции стали писать в сколько-нибудь спокойном тоне только через тридцать лет после ее начала, да и то в виде редчайшего исключения. О ней и сейчас еще часто пишут не так, как нужно и должно писать о прошлом. И *вовсе не* только до сих пор „эмигрант не простил“, „l'émigré n'a pas pardonné!“ как восклицает критика по поводу работ „правого“ лагеря. До сих пор Робеспьер ссорится с Дантоном (хотя теперь первый называется Матьезом, второй Оларом и оба состоят профессорами истории); до сих пор Бабеф требует отчета за свою пролитую кровь; до сих пор Мирабо гневно настаивает на своей реабилитации; до сих пор грозят и жалуются голодающие предместья. Правда, рядом уже начала (понемногу, очень медленно) расти более научная литература, но пока все-таки не она дает основной тон. Все это наблюдается чрез 1¼ столетия после событий.

Но далеко не в этом только дело. Великие катаклизмы не только сами по себе очень туго поддаются учету, критике и анализу со стороны ближайших к ним поколений. Они часто очень круто меняют все старые привычки мышления у большинства историков и этим могущественно влияют на общую историографию, они туманят часто взор, устремленный даже в далекую глубь веков.

Никогда так легко и обильно не возникали—пользуясь термином Бенедетто Кроче—„псевдоистории“, как именно в эпохи, следовавшие за катаклизмами. Так как Бенедетто Кроче (в своих довольно, впрочем, поверхностных этюдах по теории историографии) говорит о

„псевдоисториях“ совсем в другой связи и приводит несколько в высшей степени неудачных и неубедительных примеров, то я считаю долгом пояснить, как следует здесь понимать этот термин. Кроче говорит о поэтизации истории и облечении художественных замыслов в исторические одеяния, а также о поисках в чужой или своей более или менее древней истории аргументов в пользу своих идеалов. Удачен пример Дройзена, несравненно менее удачен пример Джорджа Грота, совсем неудачен пример Моммзена; ничтожен и неубедителен пример Гонкуров, которые вовсе не были историками (хотя и грешили „историческими“ книжками, в свободное от романов время).

Условимся понимать под псевдо-историей такой исторический труд, создавая который автор имеет, собственно, в виду изложить в этой как бы аллегорической или криптографической форме *другую* историю, историю своего собственного времени или той ближайшей к нему эпохи, которая идейно еще является для него современностью. Он не может, конечно, изменить внешний рисунок, фактическую канву, но он подставляет современную ему самому, а не излагаемым событиям *мотивацию*, он модернизирует то, о чем пишет.

Когда Штраус писал свою книгу об Юлиане, а думал в это время о Фридрихе-Вильгельме IV, когда Квидде писал о Калигуле, а *думал* о Вильгельме II, когда запуганные литераторы времен Наполеона пробовали побороть Чингисхана за необузданное честолюбие и за страсть к завоеваниям, когда украинофилы Драгомановской формации писали о провансальской литературе и фелибриже, а имели в виду Украину, когда чехи в течение всего XIX века не переставали со страстью писать об Ирландии, думая о Чехии, — или когда Арман Каррель писал о Стюартах, а имел в виду Бурбонов, — то все они писали псевдоисторию, хотя это вовсе не значит, что они грубо переиначивали и извращали факты. Кроче должен был бы привести *эти* и томуподобные примеры, а вовсе не тревожить так неосновательно тени Грота и Моммзена: настоящих историков, исследователей по призыванию, псевдоистория привлекала лишь очень редко.

Но все-таки привлекала, — и именно в послегрозовые эпохи. Психологически дело начиналось с поисков аналогий, со стремления понять пережитое, изучая antecedенты, — а затем, сплошь и рядом нечувствительно, история переходила в аллегорию и криптограмму. Вся французская историография первой трети если не первой половины XIX века развивалась под знаком той катастрофы, которая в последнее десятилетие предшествовавшего столетия покончила со старой Францией и начала новую. То уже в XII и XIII веках выискивали и находили революционную буржуазию, то усматривали настроения 1789 года на Генеральных Штатах 15 века, то открывали в Филиппе Красивом, предшественника наступательного антиклерикализма революционных собраний и т. д.

Вся долгая полуторатысячелетняя история Франции часто рассматривалась как длинное введение к драме 1789—1799 г.г. и, что хуже всего, наиболее, если не единственно интересными и заслуживающими изучения в этом введении признавались только те черты, которые так или иначе помогали читателю уяснить себе разные стороны этой конечной драмы. Получалась атмосфера, как нельзя более благоприятная для появления „псевдоистории“.

Эта атмосфера, вероятно, будет на-лицо в ближайшее время и у нас. В чем ее главный вред? В том, что она раздваивает, и поэтому, ослабляет внимание. А способность произвольно долго и не ослабляя напряжения внимания думать о факте и комплексе фактов — и есть

характерная черта исследовательского дара, не все—но многое. Нельзя отдаться всецело наблюдению над документом 12-го, 13-го или 15-го века и *в то же время* помнить и думать о революции 1789 года. Задняя мысль, посторонний психологический ингредиент—вот самый страшный враг исторического изучения, исследовательского наблюдения. Никакой Гизо, никакой Тьерри не дадут полной меры своего природного таланта, если в процессе работы хоть один уголок их головы занят чем-либо, кроме изучения наблюдаемого текста или обдумывания добытых этим изучением фактов. Они и не дали всего, что могли дать. И наше поколение и ближайшие к нам, верно, долго еще не избавятся от гипнотического воздействия воспоминаний (и представлений о пережитом; и нам тоже придется считаться с тем, что внимание в процессе работы будет раздваиваться. Нужно только твердо усвоить себе воззрение, что это обстоятельство—не есть преимущество нашего поколения, но напротив, нечто, способное сильно понизить анализирующие способности даже самого сильного интеллекта.

Но было бы односторонностью не признавать и другой, положительной стороны.

Эпохи, подобные нашей, обостряют способность к пониманию многого, что в другое время осталось бы не совсем ясным: они делают реальным то, что иначе оставалась бы пустым звуком. Как хорошо понимают Макиавелли и Гвиччардини историю междоусобных войн! Как много почерпнул у маленького Кларендона великий Ранке, потому что Кларендон был умнее Ранке своим революционным опытом, хотя во всех других отношениях их даже смешно было бы и сравнивать!

Насколько пресен и поверхностен, в качестве историка, блестящий Вольтер сравнительно с самыми скромными и маленькими историческими писателями, пережившими революцию!

Огюст Конт приписывал большое методологическое значение изучению революционных переворотов; еще больше в этом смысле значения имеет, конечно, личное переживание подобных событий. Рвется старая ткань, обнажаются концы и начала, выступает стихия, которую в другое время не видишь, а только подразумеваешь ее присутствие. А главное, наблюдаешь все ничтожество исторического значения рационального начала, всю особую, не-человеческую, а какую-то иную, непреодолимую логику, которая, правда, и в обыкновенное время властвует в истории, но затмевается трибуною, газетою, словами, жестами, криками, спорами, рассуждениями, статьями—словом, всем тем, что с таким успехом маскирует и укрывает от нашего взора—в нормальные эпохи—истинные движущие силы исторического процесса. Государства, казавшиеся вечными, разлетаются в куски, государственная культура оказывается ничтожною пленкою, первозданный хаос охватывает и топит скорлупу, которая только что представлялась несокрушимым и величавым ковчегом. Это только кажется некоторым слаонервным людям, попавшим в такой циклон, что они сходят с ума и бредят; нет, это они до сих пор бредили, убаюкиваемые искусственным спокойствием, забывши, что в нескольких аршинах под изящным ковром их каюты темная и бездонная пучина, готовая их поглотить, и что пучина есть извечная природная реальность, а их каюта хрупкая и искусственная выдумка; что пучина была до каюты,—и останется после каюты, а сами они еще могут изучать пучину, да и то изучают ее плохо, но управлять ею не могут никак; самое большее—могут пытаться отсрочить гибель своей скорлупки.

Все это на некоторое время (впрочем, не на долго, к сожалению) становится ясно, кругозор расширяется, и тот ум, который вообще способен учиться и прогрессировать крепнет и оттачивается, перестает оперировать словами и печатными строчками, как самодовлеющей ценностью, и начинает понимать, или хоть наблюдать реальности, за словами скрывающиеся.

Те, кто поборет роковые влияния на интеллект, о которых сказано раньше, те, кто не увлечется ролью ни прокурора, ни адвоката, кто не впадет в соблазн отвести душу псевдоисторическим творчеством, те выйдут из бури с окрепшим и просветленным анализом и способностью к более широкому пониманию иррационального процесса истории. Легко ослабеть интеллектом—и таких будет подавляющее большинство; но кто от этого спасется, тот, вероятно, даст науке больше, чем дал бы без пережитого катаклизма. *Tertium non datur*, в данном случае—можно лишь ослабеть или окрепнуть; остаться без перемены невозможно при этих условиях никак.

IV.

Подведем итоги.

1) Уже до войны среди историков обнаруживалась усиленная тенденция прилагать силы свои к нахождению, обследованию и установлению нового фактического материала, причем блестящие успехи этой тенденции в частности особенно сказались в приобщении к науке массы новых данных, относящихся к экономической истории. В несравненно меньшей степени наблюдалось стремление к систематизации всего этого нового материала и к построению новых схем, которые базировались бы на общей массе как старых, так и новых данных. Схема, а еще больше теория—оказывалась в опале. „*La raucite proscrire*“—так называли французские музыкальные критики мелодию, не находя ее у Дебюсси и других новых композиторов. „*La raucite proscrire*“—можно повторить о теории, о конструкции, вспоминая состояние исторического изучения в последние годы.

2) Это явление объясняется не столько робостью мысли новейших историков сравнительно с предшествующими поколениями (хотя и эта черта—сказывается), сколько гораздо более повышенной требовательностью, развившейся именно на почве обилия, часто богатства фактического материала. По существу дела, чем богаче был материал, тем рискованнее становилась всякая попытка его схематизации.

3) Рядом с громадной и непрерывной работой по добыванию, выяснению и изображению новых фактов, развивалась критика (в большинстве случаев весьма успешная), направленная против уже существовавших старых схем и теорий. Новый фактический материал, в общем, оказывался не подмогою, но гибелью для теорий, создававшихся до его открытия.

4) Это обстоятельство еще более усиливало опасность превращения исторической дисциплины в громадный хаотический склад разнообразнейших ценностей, без отчетливой цели сносимых в одно место и не имеющих между собою ничего общего. Еще до войны слышались призывы—дерзать, приниматься за теоретизирующую, обобщающую работу.

5) Колоссальные, катастрофические по своему характеру и еще совершенно неуследимые по своим результатам перевороты, постиг-

шие человечество в последние восемь лет, можно опасаться, ослабят анализирующую силу интеллекта у многих, и превратят немало исследователей, нечувствительно для них самих, в псевдоисториков (в том смысле, как говорилось выше). Много ли останется людей, крепких интеллектом и волей, которые вследствие тех же переживаний, не падут, но подымутся, станут не слабее и слепее, но зорче и шире—об этом можно только гадать. Быть в данном случае особым оптимистом, автор этих строк не видит пока оснований. Я вспоминаю нелепую книгу ординарного профессора мюнстерского университета Пленге „1789 и 1914 г.г.“ и почтительную ее критику со стороны одного из лучших немецких научных журналов „Archiv für Sozialwissenschaft“ (1917, том 42, стр. 586); вспоминаю поразительную по детскости, примитивности и полной убежденности в своем глубокомыслии работу знаменитого и *заслуженно* знаменитого Эдуарда Мейера о Карфагене и Англии; читаю курьезнейший толстый элаборат Уэльса „Outline of history“ (1920) где этот многопишущий автор,—смесь Жюль Верна с Джеком Лондоном,—думает, что дает разгадку всех тайн всемирной истории, тогда как на самом деле предлагает какую то беспорядочную окрошку из нескольких среднего достоинства учебников, одобренную типичною обывательскою философиею и парадоксами в стиле Ла-Палиса и Кузьмы Пруткова; не упускаю при этом из вида, что эта книга, что важнее всего, *была принята всерьез целою группою английских ученых*,—и припомнивши еще *десятки* аналогичных (прежде совсем невозможных) фактов из нынешнего интеллектуального быта, воздерживаюсь от оптимистических предсказаний относительно ближайших успехов нашей науки и благотворного воздействия пережитых бурь на современников. Справится ли это побитое грозой поколение с настоятельно требующими своего решения научными задачами, или ограничится бессильными потугами и словесными узорами и фантазиями, появятся ли долгожданные серьезные схемы и теории или же будут в этом порядке явлений продолжаться начатые в 1914 и усилившиеся с 1917 года диллетанские размышления вслух, ни к чему не ведущие и не имеющие завтрашнего дня,—покажет будущее.

А пока—нам нужно осмотреться, проверить себя, убедиться, чего из наших интеллектуальных способностей нас лишил или что нам дал еще продолжающийся катаклизм, и одновременно—мы должны выяснить очередные задачи науки и методы средства к их разрешению. Воскресающее понемногу научное общение с Европою и Америкою может и должно стать благотворным элементом в этом процессе.

Если следует признать насущною, очередною задачею исторической науки в данный момент создание схем и теорий, если синтезирующие способности ума сейчас явились бы драгоценнейшими качествами историка (когда, впрочем, они не драгоценны?),—то отсюда вовсе не следует, что дальнейшее нахождение и обработка фактического материала должны быть заброшены. В последние годы замечалось такое явление: сознание скудости и бессилия нашей эпохи в области создания конструкций (сравнительно, хотя бы, с первою половиною XIX столетия), растерянность пред быстро растущими, хаотическими, потому что не систематизованными горами фактов—начинали раздражать, приводить в нетерпеливое настроение некоторых (особенно, молодых) историков. Проявлялось кое-у-кого пренебрежительное отношение к собиранию фактов самому по себе. Это отношение нелепо и несправедливо. Чем могущественнее, чем *подлиннее*

обобщающая мысль, тем больше она нуждается в эрудитах и эрудиции. Еще в конце XVIII века Шанфор с обыною своею проникаемостью сказал: „*Peu de philosophie mène à mépriser l'érudition; beaucoup de philosophie mène à l'estimer*“. Пользуясь этими терминами приведенного афоризма можно сказать так: в XVI и XVII в.в. во времена цензуриаторов, Барониуса, Дюканжа и конгрегации св. Мавра в области исторических знаний процветала эрудиция и не было „философии“; в XVIII столетии не была в чести эрудиция и было много „философии“; в первой половине XIX века была критика, росла понемногу эрудиция, и теоретический полет тоже не слабел нисколько, напротив, усиливался; в последние десятилетия XIX века и в начале XX-го эрудиция, и критика достигли громадного развития, а „философия“ дошла до такого упадка, что параллель приходится искать разве только в чрезвычайно отдаленные эпохи.

Но „философией“, напр., в стиле XVIII столетия теперь уже никто не удовлетворяется. И именно—эрудиция неслыханно повысила требования, предъявляемые к качеству будущих, чаемых схем и теорий. Этого никогда не следует забывать. Когда появятся и с чего начнутся синтетические попытки—мы не знаем. Дух веет где хочет,—и когда хочет.

Но никогда настоящий архитектор, зодчий по призванию, не станет обдавать пренебрежением и сарказмами тех, кто, в чаянии его прихода, собирал и обтесывал камни и мрамор, рассматривал и отбрасывал негодный материал—а, иногда, принимал даже участие в кладке фундамента.

Может быть, в этом нетерпеливом и порою пренебрежительном отношении сыграла роль, впрочем, естественная и здоровая реакция против отождествления эрудиции с наукою.

Обилие исторических исследований в эпоху, непосредственно предшествовавшую началу последней войны было, как уже сказано, необычайно. Если бы прогресс науки измерялся лишь количественно, то можно было бы смело утверждать, что мы находимся в полосе или накануне величайших открытий. К сожалению, подобный вывод был бы совершенно неоснователен, так как сам по себе такой критерий еще недостаточен. Можно даже сказать, что с чисто логической стороны этот критерий и вовсе никуда не годится. Ведь еще Августин отметил, что скудость, недостаточность ума человеческого проявляется именно в словоохотливости (*et ideo plerumque in sermone copiosa est egestas humanae intelligentiae*) и что тот, кто ищет истину, тратит больше слов, чем тот, кому суждено ее найти ¹⁾.

На самом деле представители науки, так зависящей от притока новых и проверки старых фактов, как история, конечно, не могут приравнять обилие исследований, из которых почти каждое расширяет так или иначе их фактические сведения, к бесплодной словоохотливости. Не следует только впадать в обратное заблуждение и отождествлять это изобилие с триумфами науки. От триумфов она совсем отвыкла в последние десятилетия.

Добывать и исследовать факты,—но на этом не успокаиваться; помнить, что каменщиков очень много, а за архитектурную работу никто почти не хочет теперь браться; не забывать, что если не окончательный, то высший смысл дела, однако, именно в архитектурных достижениях; критиковать, проверять, если нужно, то и разрушать

¹⁾ В подлиннике это поразительно ярко в своей лаконичности: ...quia plus loquitur inquisitio quam inventio. (Confessiones XII, c. 1).

чужие чертежи и планы, но не бояться строить свои собственные — вот каких настроений каждый историк должен, кажется, пожелать в настоящее время и себе самому и соратникам по науке. Позаимствовать бы нашему и идущему за нами поколению хоть немного былой смелости! Поколения угасшие даже преувеличивали это качество. Как уверенно схематизировали и объясняли физиократы китайскую и египетскую историю, о которой не имели (и не могли тогда иметь) никакого представления! Как мало затруднялся и стеснялся Гегель, рассуждая о духе истории Индии, хотя Индию он знал так же обстоятельно, как физиократы — Китай и Египет.

Пишущему эти строки всегда казалась поразительной близость психологии былых строителей общих историко-философских систем к психологии казалось бы совсем на них непохожих старых камералистов XVI—XVII в.в. (в позднейшие времена порча века сего коснулась и камералистов, и смутила первоначальный покой их души).

Камералисты были теоретики, философы и, отчасти, поэты бюрократии, средневропейского чиновничества, только еще выступавшего на историческую арену. Для них — интересы абсолютного государя, которому они служат и интересы народа, которым управляет этот государь, — нечто до того совпадающее, что незачем даже много распространяться об этом факте. Вообще же, они пишут вовсе не затем, чтобы аргументировать в пользу абсолютизма — для них, в их времена и в их стране это значило бы ломиться в открытую дверь, — но затем, чтобы, в самом деле дать посильный ответ на ряд второстепенных, хотя и очень важных вопросов: какой экономической политики выгоднее всего держаться относительно соседей, как целесообразнее организовать полицию и суд и т. д. „Да будет проклят тот, кто предвзято отличает интересы государя от интересов подданных“, восклицает один из характернейших основоположников камерализма Вильгельм фон-Шредер, писавший при дворе Леопольда I австрийского, в восьмидесятых годах XVII столетия. И он, и более талантливый и умный Бехер (чуть-чуть более либеральный), и более ученый Горник, и более оригинальный предшественник всех этих авторов, современник Варфоломеевской ночи, случайно только потерявший в эту ночь не жизнь, а лишь библиотеку, страсбургский профессор Георг Обрехт, — все они писали, исходя из молчаливо признаваемой аксиомы, что абсолютная власть: 1) несокрушима и покоится на Божьей милости; и 2) что эта власть эвдемонистична по существу и всегда последует всякому разумному совету, клонящемуся к общему благу. Никакая тенденция политического характера не нарушала свободного течения их мыслей, — не потому, что у них не было своих реальных интересов и убеждений, но потому, что эти интересы и убеждения казались им непререкаемыми и избавленными от всяких покушений. Когда инженер пишет трактат о локомотивах, он не считает нужным начинать свое изложение с доказательства, что управлять локомотивом должно предоставить машинисту, но не пассажирам. Когда Обрехт пишет свои „Politisch Bedenken und Discurs“, — не станет он тратить время на доказательства в пользу основного и непреложного тезиса о верховной власти и о благе абсолютизма.

Мыслители, подходившие к историческому материалу с априорно образовавшеюся философскою или религиозною верою в тот или иной высший регулирующий принцип в истории и искавшие в этом материале лишь иллюстраций для пояснений данной философии были так же свободны и независимы в своих схемах и частных теориях, как камералисты в своих проектах улучшения финансов, путей сооб-

щения, торговых связей с чужими странами, администрации. Основная истина была камералистам дана. Могли ли их особенно смущать и тревожить возможные ошибки в расточаемых ими советах по частным вопросам?

Точно также была дана эта истина и философам истории. Могло ли смутить Гегеля, что те или иные факты противоречат его теории? Тем хуже для фактов. Тот, кто подходит к истории с классическими словами: „Voilà ma thèse: donnez moi de documents pour la prouver“, — всегда обеспечен от больших разочарований: если давно отмечено, что можно даже в Писании найти аргументы в пользу чего угодно, то подавно недостатка в выборе иллюстраций для любого тезиса среди мириады документов быть не может. Стоит только не замечать документов противоречащих.

Теперь, повторяю, этот метод не удовлетворит и неубедит, нужно такое соединение синтеза с анализом, дедукции с индукцией, о котором века минувшие и не грезили. И мечтать хочется не о повторении и возвращении к уже раз бывшему в истории науки, а о другом: если-бы к нынешним знаниям—*их* дерзновение! Если бы к нынешнему критицизму—*их* стихийную потребность в созидании; к нынешней опытности, опытности людей, переживших то, что мы пережили, *их* свежесть восприятия; если бы к нынешней внимательности и наблюдательности—*их* размах и *их* устремление...

Будем надеяться, что начало XX века окажется похожим на начало XIX-го не только истреблением в международном масштабе нескольких миллионов людей, но и появлением плеяды синтезирующих умов и талантов. Время для жатвы давно наступило; может быть, недалеко уже и жнецы.

Е. Тарле.